



# Семечко

Юрий Шабунин

Юрий Шабунин

**Семечко**

«Автор»

2026

## Шабунин Ю. Н.

Семечко / Ю. Н. Шабунин — «Автор», 2026

-1875 год. Пулковская обсерватория. Анна Богданова, переписчица метеосводок, находит в архиве дагерротип тридцатилетней давности. На снимке она сама — трёхлетняя девочка, бегущая по аллее имения, которого больше нет. За бракованным кадром тянется шлейф тайн: исчезнувший отец-астроном, пожар в западном крыле, учение загадочного мудреца Хамара о «VERO» — первооснове бытия. Так начинается путешествие в ткань мироздания. Гравитация здесь — не сила, а очередь тоскующих частиц. Время — гонец, доставляющий письма. Смерть — не конец, а момент доставки. А яблочное семечко в кармане старого платья хранит чертёж целого сада. Анна создаёт собственную теорию реальности — поэтичную, дерзкую и пугающе убедительную. Но откровение имеет цену. В мире, где женщинам запрещено смотреть в телескоп, её тетрадь может стоять ей места, свободы и, возможно, жизни. «VERO: Этюды о ткани мироздания» — философский роман, где наука встречается с мистикой, а проза обретает плотность поэзии.

© Шабунин Ю. Н., 2026

© Автор, 2026

# Содержание

Пролог.	5
Глава 1. Серебро помнит	7
Глава 2. Тяжесть неподвижных	13
Глава 3. Феноменология	20
Конец ознакомительного фрагмента.	23

# Семечко

## Пролог.

(Место действия: затемнённая комната.

Время: безвременье.)

Сначала был не свет.

Свет приходит потом, когда уже есть кому смотреть и есть на что.

А до света была просто готовность — как натянутая струна, которая ещё не знает, что такое звук, но уже не хочет быть просто жилой. Эта готовность не имела имени, потому что имена требуют языка, а язык требует губ, а губы требуют плоти, а плоть — это уже результат, а не начало.

Но если очень нужно назвать её хоть как-то, назовём: **VERO**.

Не частица. Не волна. Не поле в том смысле, в каком физики чертят мелом на доске.

**VERO** — это шёпот, который остаётся, когда всё остальное замолкает.

Это «да» без «нет», потому что «нет» ещё не изобрели.

Это способ быть, не занимая места.

Представьте, что вы закрыли глаза и пытаетесь вспомнить лицо человека, которого никогда не видели. Вот это усилие — чистое, беспредметное, не отягощённое надеждой на успех — и есть **VERO** в его изначальном состоянии. Оно не ждёт результата. Оно и есть результат. Но так не может длиться вечно. Не потому что вечность конечна, а потому что быть — значит меняться, а меняться — значит однажды споткнуться о собственную тень. И вот одна **VERO**, ничем не отличимая от других, вдруг замедляет свою внутреннюю пульсацию. На долю тона. На ширину атома. На ту невыносимо малую величину, которая отделяет сон от пробуждения.

Этого достаточно. В ткани возникает складка. Складка хочет расправиться. Она ищет другую такую же — и находит.

Они сплетаются мантиями, пытаясь восстановить утраченную гладкость. Но в месте их встречи рождается напряжение, которого раньше не было. Это напряжение мы потом назовём гравитацией. А пока у него нет названия, есть только смутное, почти невыносимое

ощущение: «Меня касаются. Я отдельно».  
Так начинается время. Так начинается  
пространство. Так начинается всё.  
И где-то там, в бесконечно далёком  
будущем этой первой складки, девочка по  
имени Анна стоит на пороге архива и  
смотрит на дагерротип, не зная, что  
смотрит на собственное рождение. А где-  
то ещё дальше, уже за пределами её  
жизни, человек, которого она никогда не  
узнает, читает эти строки и чувствует, как  
что-то внутри него — какая-то крошечная  
**VERO**, уставшая стоять в очереди к  
центру Земли — вдруг вздрагивает и на  
секунду перестаёт весить.  
Это не начало истории. Это начало  
слушания.  
Потому что всё уже было сказано — ещё  
до того, как появились слова. Просто  
нужен был тот, кто согласится стать ухом.  
И этим ухом стала она.  
А теперь — вы.

## Глава 1. Серебро помнит

15 октября 1875 года. Пулково. Час, когда мёртвые вещи говорят громче живых. Пластина лежала в ящике с надписью «Derpt. Sternwarte. 1839. Брак». Чья-то рука — может быть, самого директора, а может, и ассистента, давно переведённого в Казань, — вывела на полях инвентарной карточки одно только слово: «Дефект. Размытие по нижнему краю». Анна выдвинула ящик, и сухое дерево запело. Долгую, скрипучую ноту, от которой заныло под ложечкой — там, где, как она теперь знала, Мантии её внутренних VERO сжимались в ожидании удара. Пальцы сами нашарили стекло. Тяжёлое. Обжигающе холодное. Холод этого стекла был не тот, что в кувшине для умывания по утрам. Тот — кусачий, поверхностный, заставляющий кровь бежать быстрее. Этот — глубинный, идущий не от ноябрьского сквозняка, а оттуда, где нет ни ноября, ни сквозняка, ни самой крови. Она поднесла пластину к окну. Серый свет зари лёг на эмульсию — и отпрянул, не в силах проникнуть в серебро. И тогда она зажгла свечу. Жёлтое пламя качнулось, и проступили контуры. Восточное крыло. Три тополя — пирамидальные, отец называл их «тремя сёстрами», хотя они не были сёстрами, просто росли из одного корня. Аллея, уходящая к пруду. И в левом нижнем углу — то, за что пластину списали в брак. Размытый след. Детское лицо, смазанное долгой выдержкой. Приоткрытый рот. Руки, расставленные в стороны — не для равновесия, для радости. Она смотрела на это лицо и не узнавала себя. Не потому, что забыла. Потому что та девочка ещё не знала, что бежит в кадр. А она, Анна, знала, что та уже никогда из него не убежит. Пластина жгла ладони. Она перевернула её — и увидела на обороте, на потускневшей медной фольге, царапину. Не царапину — букву. «А». Отец всегда метил свои снимки первой буквой её имени. Говорил: «Ты — моя главная переменная, Аннушка. Единственная, которую я не могу вычислить до конца».

Она не заплакала. Слёзы — трение жидкости о глазное яблоко. Бесплезная траста информации. Вместо этого она прижала стекло к груди и закрыла глаза. И тогда прошлое перестало быть прошлым.

Сначала пришёл запах. Сухой, едкий — химический раствор, которым отец обрабатывал пластины. Йод. Ртуть. И что-то ещё, неуловимое — может, сам воздух «Зеркального», настоящий на яблоках и влажной траве.

Потом пришёл звук.

Не голос — смех.

Короткий, грудной, обрывающийся на полуслове, как будто отец засмеялся и тут же замолчал, вспомнив о чём-то важном.

А потом — удар сердца. Один. Глухой. Не её — его. Она не слышала это сердце, она ощутила его в ладонях, как ощущают вибрацию маятника, прижав пальцы к чугунной плите.

Она открыла глаза. Пластина лежала на её коленях. Свеча оплывала. В архиве пахло йодом и старой кожей. Но в груди, там, где только что билось чужое сердце, росла тяжесть — не та, что бывает от

усталости, а та, что знакома каждой VERO, получившей письмо, которое она не в силах ни распечатать, ни выбросить.

Она отложила пластину и достала отцовские бумаги. Бечёвка лопнула с тихим, сухим треском — как будто что-то внутри самого свёртка наконец решило, что ждало достаточно. Из пачки выскользнул плоский деревянный пенал.

Анна открыла его и замерла.

В пенале лежала книга. Вернее, то, что от неё осталось: обгоревший переплёт с остатками тиснения, спекшиеся страницы, похожие на окаменевшие древесные листья. На внутренней стороне обложки уцелела надпись — чернила выщвели до рыжины, но буквы читались:

*«Сергею Богданову, другу и оппоненту. В надежде, что свет разума рассеет мрак заблуждений. Барон А. фон Мейендорф. 1837».*

А ниже — отцовской рукой, уже почти неразличимой:

*«Свет разума рассеивает что угодно, кроме самого мрака. В этом и беда».*

Анна отложила книгу. Пальцы дрожали —

не от холода. Она знала эту историю. Не из писем, не из рассказов матери. Из тишины, которая наступала в доме каждый раз, когда кто-то неосторожно произносил имя Мейендорф. Тишина была такая плотная, что в ней, казалось, можно задохнуться. Отец никогда не говорил о бароне. Никогда не объяснял, почему его перестали печатать. Никогда не отвечал на вопросы. Просто замолчал — так, как замолкают VERO, когда все гонцы убиты, а письма больше некому нести. Теперь Анна смотрела на обгоревший переплёт и видела не книгу. Она видела пламя, пожирающее западное крыло имения Мейендорфа. Видела багровые отсветы на снегу, чёрный дым над голыми тополями. Видела фигуру, стоящую у окна «Зеркального» спиной ко всему происходящему. Она не знала, поджёг ли её отец дом человека, который его погубил. Не знала — и не хотела знать. Потому что знание — это информация, а информация в ткани VERO не исчезает. Она просто меняет адресата. И если она сейчас, через сорок лет, примет это знание — оно станет частью её собственной конфигурации. Ещё одним шрамом на Мантии. Ещё одним грузом в очереди к центру Земли. Она закрыла пенал. Заметка о пожаре выпала из пачки сама — пожелтевшая вырезка из «Санкт-Петербургских ведомостей» за июль 1839 года. Анна не стала читать. Она знала, что там: «возгорание в западном крыле, причина не установлена, ущерб значительный, жертв нет». Жертв нет. Отец не убивал. Он только смотрел из окна на багровые отсветы и молчал. А потом замолчал навсегда. Она убрала вырезку обратно и нащупала на самом дне пачки сложенный вчетверо лист рисовальной бумаги. Развернула — и перестала дышать. Рисунок углём. Стена. Исполинские каменные блоки, подогнанные друг к другу с точностью, недоступной ни одному известному инструменту. Баальбек. Терраса, которую не могла построить ни одна известная цивилизация. Под

рисунком — отцовской рукой, но явно с чужих слов: «Они знали то, что мы забыли. VERO не требует корабля. Оно требует состояния».

А на обороте — приписка, сделанная другим нажимом, другим пером, другой рукой. Почерк был чужой, но буква «V» в слове «VERO» изгибалась точно так же, как в отцовских пометках на полях «Эфемерид».

Как будто рука, писавшая это, знала, что однажды её прочтёт Анна.

«Аннушка. Тяжесть — не свойство камня.

Это память, забывшая о себе. Каждая частица, из которой ты состоишь, помнит, что когда-то она была частью целого. Она не хочет падать. Она хочет вернуться. И то, что ты называешь весом, — это просто очередь. Самая длинная, самая терпеливая очередь в мироздании.

Миллиарды VERO, стоящих в ожидании, когда кто-то примет их письмо. Не бойся тяжести. Бойся пустоты, в которой никто никого не ждёт».

Анна прижала лист к груди. Она не знала, кто такой Хамар.

Она не знала, почему отец записывал его слова, не ссылаясь на него ни в одной публикации. Она знала только одно: эта приписка была адресована ей. Не трёхлетней девочке, бегущей через кадр. Сорокалетней женщине, сидящей в архиве на краю империи, в час, когда время останавливается.

За окном занимался рассвет. Не тот, что накануне — разбавленное молоко, тронутое ржавчиной, — а другой: резкий, почти белый, высвечивающий каждую

трещину в штукатурке, каждую пылинку, застывшую в столбе света. Анна поднялась. Колени затекли, спина ныла.

Она прошла к столу, где лежали чистые метеорологические бланки — та самая бессмысленная работа, которой директор наградил её вместо часов на рефракторе.

Взяла один лист. Посмотрела на него долгим взглядом — и вдруг резко, с треском вырвала из стопки.

Бумага пошла неровно. Край остался рваным.

Она прижала лист ладонью к столу и зажгла свечу. Потом вынула из ящика чистую тетрадь — казённую, в кожаном переплёте, выданную для описи метеонаблюдений, — и раскрыла на

первом листе.

Чернила схватились морозцем. Перо скрипело. Она вывела:

«VERO: Этюды о ткани мироздания. Часть первая. Свет на выдержке».

А потом, почти не дыша, придвинула свечу и записала вопрос, от которого теперь зависела вся её жизнь:

«Если свет с дагерротипа 1835 года достиг меня сейчас, пройдя сорок лет сквозь серебро и память, то где он будет через сто лет? Через тысячу? И существует ли во Вселенной что-то — или кто-то — кто примет этот сигнал не как дефект изображения, не как брак серебра, а как чистый акт присутствия?»

Она перечитала написанное. Чернила блестели, не успев высохнуть. Буквы казались живыми — не в переносном смысле, а в том самом, о котором говорила приписка на обороте. Каждая VERO, составлявшая чернила, получила её приказ и теперь несла его в себе, как гонец несёт запечатанный конверт.

Она не знала ответа. Но впервые за сорок лет ей не было страшно от того, что она его не знает. Страшно было другое: умереть, так и не задав этот вопрос вслух.

Анна закрыла тетрадь. Провела ладонью по тиснёной коже — кожа была сухая, чуть шероховатая, пахнувшая ледерином и временем. Она знала: эта тетрадь ещё не закончена. Более того — она никогда не

будет закончена, потому что вопросы, рождённые в ткани VERO, не имеют последней страницы. Но она также знала: именно здесь, на этом рваном листе, испачкан-

ном воском и чернилами, начинается то, что невозможно будет остановить. Никакой резолюцией.

Никаким доносом. Никаким огнём.

Свет уже пошёл. Оставалось только не закрывать глаза.

В кармане платья, за подкладкой, она нащупала крошечную твёрдую косточку.

Яблочное семечко. Непонятно, как оно там оказалось. Она не помнила, чтобы клала его. Сжала в кулаке. Оно почти

ничего не весило — но руку тянуло книзу, как тянет книзу странная мысль, от которой невозможно отмахнуться.

Где-то далеко, за миллиарды вёрст и сорок лет, май 1835 года всё ещё длился.

Девочка всё ещё бежала. Свет всё ещё летел. И Анна Богданова, переписчица

метеосводок, архивная крыса, женщина  
без права смотреть в большой рефрактор, наконец перестала делать вид, что не  
хочет его догнать.

## Глава 2. Тяжесть неподвижных

**вещей.**

16 октября 1875 года. Пулково. Утро.

Утром архив возвращал себе статус казённого помещения. Ночные тени покидали углы, запах йода смешивался с запахом угольной пыли из коридора, и стеклянные пластины в дубовых ящиках снова становились просто учётными единицами — без лиц, без голосов, без обещания ответа. Анна сидела за конторкой, переписывая сентябрьские барометрические таблицы, и чувствовала, как стынут пальцы в митенках. Цифры ложились на бумагу ровными столбцами, но мысли её были не здесь. Они всё ещё бродили по аллее восточного крыла «Зеркального», где трёхлетняя девочка в размытом движении бежала навстречу объективу и не знала, что бежит в вечность.

Перо царапнуло бумагу, оставив кляксу. Анна отложила его и вышла в коридор. Нужно было найти расчёты отца по орбите кометы Галлея — Герман Карлович велел подготовить сводку для приезжего профессора, и отказаться значило снова выслушать про «не дамское занятие». Она прошла мимо маятника Фуко, чей латунный диск чертил в песке на полу невидимую линию вращения Земли, и толкнула тяжёлую дверь библиотеки.

Здесь пахло нагретой за день пылью и старой кожей переплётков. Анна провела кончиками пальцев по корешкам — многие книги стояли здесь с основания обсерватории, и кожа их потрескалась от сухости, как земля в засуху. «Эфемериды малых тел» с фамилией отца на титуле нашлись не сразу: кто-то задвинул их за массивный том ньютоновских «Начал», словно стесняясь соседства любительских заметок с великим трактатом.

Она взялась за корешок «Начал», чтобы отодвинуть их, — и замерла. Книга не просто весила.

Она давила книзу с какой-то личной, почти обидной настойчивостью, словно в ней спал не только Ньютон, но и все, кто за

триста лет вчитывался в эти строки в поисках незыблемости. Пыль, впитавшая дыхание поколений астрономов, добавила свой вес. VERO книги, поняла Анна внезапно, стояли в очереди на прочтение — и эта очередь тянула книгу к центру Земли сильнее обычного. Не масса бумаги. Информация, ждущая, чтобы её считали. Она выдохнула и бережно, почти благоговейно сдвинула том в сторону. Она раскрыла отцовскую книгу на середине и замерла.

Страницы были испещрены его почерком — острым, летящим, с наклоном вправо, словно буквы торопились обогнать мысль. На полях, возле абзаца о пределах досягаемости небесных тел, она заметила следы воска — три капли, застывшие много лет назад. Отец читал здесь ночью, при свече, и воск капал на страницу, а он не замечал.

Анна поднесла страницу к лицу. От бумаги ещё исходил слабый, едва уловимый запах табака. Того самого, что она помнила с трёх лет.

Она провела пальцем по карандашной линии — отец подчеркнул слово «тяготение» так сильно, что грифель продавил бумагу. Рядом, тем же летящим почерком, стояла пометка: «Человек никогда не покинет колыбель тяготения. Только если покинет не телом». А ниже, с другим нажимом — более сильным, почти яростным, — было приписано одно слово: «VERO».

И тут же, заложенный между страницами, лежал сложенный вчетверо лист плотной рисовальной бумаги. Анна развернула его и затаила дыхание.

Рисунок углём: стена из исполинских каменных блоков, подогнанных друг к другу с такой невероятной точностью, что в стык между ними не вошло бы лезвие бритвы. Баальбек.

Терраса, которую не могла построить ни одна известная цивилизация. Камни весом в тысячу тонн, уложенные так, словно они ничего не весили. Под рисунком — отцовской рукой, но явно с чужих слов: «Они знали то, что мы забыли. VERO не требует корабля. Оно требует состояния».

Она перевернула лист. На обороте была

приписка:

«Аннушка, мы ищем способ передвинуть вещь в пространстве. Но вещь — это лишь узор из забывших о своём единстве частиц. Тяжесть — не свойство камня. Это привычка частиц прижиматься друг к другу, чтобы заглушить тоску по целому. Разомкни привычку — разомкнётся и путь. Не тело должно лететь. Должна проснуться память».

— Анна Сергеевна, вы опять с отцовскими фантазиями?

Она вздрогнула и обернулась.

В дверях стоял Пётр Степанович, младший ассистент по спектральному анализу. Он держал в руках колбу с мутной жидкостью, и его вечно приподнятая правая бровь придавала лицу выражение снисходительного любопытства. Но сегодня в этом любопытстве сквозило что-то ещё — не тревога, но настороженность, как у человека, который издали почуял запах дыма.

— Я вижу, вы книгу его нашли. Ну и что?

Серебро окислилось, эмульсия поплыла, а вы ищете тайны мироздания в браке дагерротиписта. Ей-богу, Анна Сергеевна, вы бы лучше спектры научились читать — там, по крайней мере, линии Фраунгофера не врут.

Она закрыла книгу и прижала её к груди.

— Пётр Степанович, вы когда-нибудь задумывались, почему вы не можете просто протянуть руку и дотронуться до звезды?

Он хмыкнул:

— Потому что она далеко. Расстояние, барышня. Сотни световых лет. Элементарная физика.

— Нет. Потому что у вас есть тело. Оно весит четыре пуда и притянуто к земле. А у света тела нет. И он долетает.

Петя на мгновение растерялся. Его правая бровь опустилась, сравнившись с левой, и лицо на секунду стало почти детским, беззащитным. Рука его дернулась к вороту сюртука — мимолётный, почти произвольный жест, каким проверяют, на месте ли что-то, спрятанное на груди. Анна заметила этот жест. Петя заметил, что она заметила. Он отвёл взгляд и тихо, почти нехотя

произнёс:

— Знаете, мой отец тоже... увлекался.

Спекулятивная натурфилософия, тайные свойства эфира, животный магнетизм.

Кончил в лечебнице. В Горках. Я ему носил передачи до последнего.

Он уже не узнавал. Но всё шептал что-то

— какие-то формулы, имена, будто разговаривал с невидимыми

собеседниками. А однажды сказал мне:

«Петька, ты не слушай, когда они говорят, что ничего нет. Есть. Оно шуршит». Я не знаю, что шуршит. И не хочу знать.

Анна молчала. Петя смотрел в окно, и

колба в его руке чуть подрагивала. Он

снова заговорил, и в голосе его

прорезалась неожиданная мольба — не к ней, к самому себе:

— Я не хочу, как он, Анна Сергеевна. Не хочу слышать то, чего нет. Лучше спектры.

Спектры безопасны. В них есть линии — чёткие, ясные, на своих местах. Они не шепчут. Они не сходят с ума.

Он попытался надеть на лицо привычную усмешку, но та держалась нетвёрдо.

Потом резко повернулся и вышел —

быстрее, чем обычно, забыв закрыть за

собой дверь. Каблуки простучали по

чугунным плитам и стихли.

Анна осталась одна. Она вышла в зал с

маятником, где обычно прогуливалась

Лиза — жена механика, приходившая в

обсерваторию к мужу и коротавшая часы

ожидания за сочинением стихов. Лиза

стояла у окна с карандашом и записной

книжкой, и лицо её было вдохновенным, как у пифии.

— Аня, послушай, — сказала она, заметив подругу, и прочла с выражением:

«И звёздная пыль на ресницах осела. Я

слышу, как дышит вселенское тело...»

Анна помолчала. Потом сказала мягко:

— Это красиво, Лиза. Очень. Но там, —

она кивнула в потолок, в сторону башни

рефрактора, — не звёздная пыль. Там

Венера. Планета. И дышит она серной

кислотой, а не стихами.

Лиза опустила карандаш. На секунду её

лицо дрогнуло — Анна уже пожалела о

своих словах. Но потом Лиза вдруг

улыбнулась — тихо, понимающе.

— Значит, и у Венеры душа кислая. Но всё равно дышит. — Она замолчала и вдруг добавила совсем тихо, не в рифму, почти шёпотом: — А я сейчас, наверное, как Луна. Пустая, холодная, и свет не свой. Только отражённый. От твоих звёзд, от твоих формул. Ты хоть тяжёлая, но живая. А я лёгкая, как пыль. И никому не нужная.

Анна вздрогнула. «Тяжёлая, но живая».

Лиза, сама того не зная, только что дала ей ключ: тяжесть не всегда проклятие.

Иногда — свидетельство присутствия. Не физический вес, а накопленная информация о прожитых днях, о

привязанностях, о тоске — всё, что делает VERO плотнее, собраннее, заметнее в

ткани бытия. Лёгкость Лизы была не свободой, а отсутствием. Её гонцы

остановились, писем нет, и даже

гравитация словно забыла о ней.— Ты не

лёгкая, Лиза, — сказала Анна медленно, всё ещё глядя на маятник.

— Ты ждёшь. А ожидание весит больше, чем любое письмо. Просто его не видно.

Но оно давит.

Лиза посмотрела на неё долгим взглядом, в котором стояли слёзы, но не пролились.

Она кивнула — не соглашаясь, а

принимая утешение, и отвернулась к окну.

Анна поняла, что разговор окончен, и тихо вышла.

Она вернулась в архив. Тишина здесь стала гуще — казалось, её можно потрогать рукой, как бархатную штору.

Анна села за стол, придвинула свечу и раскрыла тетрадь. Слова отца всё ещё звучали в ней: «Тяжесть — не свойство

камня. Это привычка». Она перечитала написанное и вдруг замерла, глядя на

свой указательный палец — тот самый, что вчера пострадал от занозы.

Привычка. Если вес — это привычка частиц помнить о разрыве и забывать о единстве, то достаточно вспомнить правильно — и вес исчезнет.

Она закрыла глаза. Она не молилась —

она приказывала. Вернее, не

приказывала, а уговаривала, как

уговаривают замёрзшие пальцы

согнуться. Она представила, как

крошечные, невидимые частицы в

подушечке её указательного пальца

перестают прижиматься друг к другу в

поисках утраченного равновесия. Как они

расправляют свои заботливые,  
эластичные оболочки. Как вспоминают, что они не одиноки.  
Ничего не произошло.

Анна открыла глаза и усмехнулась. Палец  
никуда не делся. Он весил ровно столько  
же, сколько минуту назад. Но когда она  
перевела взгляд, то увидела: пузырёк с  
чернилами, стоявший на краю стола, едва  
заметно качнулся, хотя сквозняка не было.  
Крошечная волна прошла по поверхности  
чернил — и успокоилась. Пылинки в  
столбе света на секунду застыли, как если  
бы само время споткнулось. А потом всё  
пошло своим чередом.

Анна затаила дыхание. Сердце стучало  
гулко, неровно. Она не могла поручиться, что это не игра воображения. Но она  
знала: что-то отозвалось. Кто-то на другом  
конце вселенной не просто кивнул —  
перехватил письмо. Её пальцы, всё ещё  
дрожащие от напряжения, отбивали по  
столу неровный ритм — неосознанно, как  
отбивают ритм, когда слушают далёкую  
музыку.

Она записала в тетради:

«Если вес — это память о разрыве, то  
достаточно вспомнить целостность, чтобы  
стать невесомой. Но как напомнить  
частицам моего тела о том, что они  
забыли?»

Вопрос не в механике. Вопрос в  
пробуждении. Первая попытка: палец.  
Результат неясен. Но что-то дрогнуло. И  
чернила это видели».

Чернила блестели в пламени свечи, не  
успев высохнуть.

Где-то внизу, в лабораторном крыле, застучал молоток механика — мерно, настойчиво,  
словно огромное сердце

обсерватории, — но теперь этот звук не  
раздражал, а казался частью огромного, ещё не расшифрованного ритма.

В кулаке было зажато семечко. Она  
разжала пальцы и посмотрела на  
коричневую морщинистую кожу.

Положила его рядом с тетрадью, и оно, казалось, само легло в такт её пульсу —  
крошечное, почти невесомое, но  
хранящее в себе чертёж целой яблони.

Тяжесть — привычка. Но и ритм —  
привычка. Может быть, вся разница в том, какую привычку выбрать: стоять в очереди  
к центру Земли или пульсировать в унисон  
с музыкой, которая ещё не слышна, но

уже звучит.

За дверью архива кто-то тихо напевал.

Лиза. Мелодия была простая, почти детская, но Анна вдруг поймала себя на том, что пальцы её — тот самый указательный, с занозой, и соседний, здоровый, — сами собой отбивают ритм. Не по столу — по воздуху, по невидимой мембране. Семечко на столе дрожало в такт, как крошечное сердце, которое ещё не начало биться, но уже слышало музыку.

«Тяжесть — это привычка, — повторила она про себя слова отца. — А ритм — это способ разомкнуть привычку».

Она ещё не знала как. Но теперь у неё был не только вопрос. У неё был пульс. И тихий, едва уловимый стук молотка, и колыхание чернил, и дрожь семечка — всё это было обещанием, что письмо, отправленное без чернил, однажды будет доставлено. Не силой. Ритмом.

## Глава 3. Феноменология

### Пространства

18 октября 1875 года. Пулково. Час, когда даже страх становится прозрачным.

Ключ пах жестянкой из-под монпансье и машинным маслом. Анна выудила его из банки, спрятанной за пожарным багром в каморке механика Никодима, и на секунду замерла, прислушиваясь к храпу за дощатой перегородкой. Храп был ровный, утробный, с присвистом — такой не прервётся до рассвета. Она сжала латунный стержень в кулаке, чувствуя, как холод металла просачивается сквозь шерстяную митенку и впивается в ладонь. Сердце колотилось где-то у горла, но не от страха быть пойманной — этот страх был мелок и привычен, как казённые чернила. Сердце колотилось от предвкушения встречи с тем, чему она ещё не знала имени, но уже угадывала контуры.

Винтовая лестница пела под ногами.

Чугунные ступени отзывались на каждый шаг низким, протяжным гулом, и Анне казалось, что она поднимается не в башню обсерватории, а в нутро гигантского музыкального инструмента.

Она ступала осторожно, стараясь не шуметь, но на полпути замерла, прижавшись спиной к холодной кирпичной стене. Снизу, из глубины здания, ей почудились шаги — тяжёлые, мерные, словно ночной смотритель совершал обход. Сердце рванулось к горлу, кровь застучала в висках в такт скрипу невидимых половиц. Она затаила дыхание, чувствуя, как каждая живая частица в её теле сжимается в тревожный комок — Мантии сжимались, Ядра вибрировали сигнал опасности. Но шаги затихли, и тишина вернулась. Анна выждала ещё минуту, глядя в темноту, и двинулась дальше. Теперь каждый шаг был не только актом кражи, но и маленьким бунтом против собственного страха.

Дверь в башню поддалась с тихим, почти извиняющимся вздохом. Анна шагнула внутрь и остановилась, давая глазам

привыкнуть к темноте. Рефрактор возвышался посреди круглого зала, как спящий ихтиозавр, выброшенный на берег. Его труба тускло отсвечивала в свете единственного газового рожка, прикрученного до синеватого язычка пламени. В воздухе стоял сложный, густой запах: машинное масло, нагретая латунь, старая кожа уплотнителей и что-то ещё — сухой, морозный дух самого пространства, которое втекало сюда через открытый купол и оседало на всём невидимой изморозью.

Она подошла к механизму наведения. Рукояти были холодны и тяжелы, они сопротивлялись её прикосновению, словно не желали подчиняться женщине.

Анна упрямо сжала зубы и налегла плечом. Шестерни внутри чугунного корпуса скрежетнули, и огромная труба медленно, величаво качнулась, меняя угол.

Анна смотрела не на звёздную карту, не на координатные круги с тонкой гравировкой — она вела инструмент по наитию, в ту область неба, где, согласно всем каталогам, не было ровным счётом ничего. Чёрный квадрат меж звёзд.

Пустота.

Она закрепила фиксатор и прильнула к окуляру.

Первое мгновение было разочарованием.

Глаз увидел только черноту — глубокую, абсолютную, лишённую даже намёка на свет. Но Анна не отстранилась. Она знала, что глаз — инструмент ленивый, он хватается первое, что лежит на поверхности, и успокаивается. Надо было дать ему время. Она дышала медленно, размеренно, чувствуя, как холод башни пробирается под шаль, как стынют пальцы ног в тонких ботинках, как изо рта вырывается пар и тут же тает. И постепенно чернота перестала быть монолитной.

Она расслоилась.

Сначала появились оттенки: угольно-чёрный, пепельно-серый, какой-то глубокий, ускользающий индиго. Затем — текстура. Это было похоже на толщу воды, если смотреть на неё из батискафа: не пустота, а среда. Плотная. Упругая. Живая. Анна чувствовала это не столько зрением, сколько какой-то древней, звериной частью сознания — той, что просыпается в нас, когда мы входим в тёмную комнату и безошибочно знаем, что

в ней кто-то есть. Пространство дышало.  
Не в переносном смысле — в самом  
прямом, физическом. Оно не было  
пассивнымместилищем для звёзд и

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.